

А.П. Чехов

Учитель

Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чиновничество и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги.

Пришлось полежать и выпить воды.

— Как ты слаб стал! — вздохнула жена. — Тебе бы вовсе не ходить на этот обед.

— Прошу без советов! — сердито оборвал ее учитель.

Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Ляпунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя «не по-товарищески»: диктуя — выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова.

Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся... От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом.

— Федор Лукич, это вы? — удивился инспектор. — Вы... пришли?

— А что?

— Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы...

— Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти.

— Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим! Собственно ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..

В квартире директора фабрики все уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два стола: один большой — для обеда, другой поменьше — закусочный. В окно сквозь спущенные шторы еле-еле пробивался полуденный, знойный свет... Комнатные сумерки, швейцарские виды на столах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках — глядели наивно, девически

сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круглым животиком и с масляными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и все старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака.

— Федор Лукич, кого вижу! – заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. – Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!.. Господа, позвольте вас порадовать: Федор Лукич пришел!

Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Ляпунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал:

— Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!

— Господи, вы все о том же! – сказал Ляпунов и поморщился. – Неужели вам не надоело?

— Да, все о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа оказалась лучше моей. Я все понимаю!..

— Да что вы придираетесь? – огрызнулся Ляпунов. – Какого черта вы ко мне пристаёте?

— Будет, господа, – вмешался инспектор, делая плачущее лицо. – Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки... ни одной ошибки... ну не все ли это равно?

— Нет, не все равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!

— Пристаёт! – продолжал Ляпунов, сердито фыркая. – Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!

— Оставьте мою болезнь в покое! – сердито крикнул Сысоев. – Какое вам дело? Зарядили все одно: болезнь! болезнь! болезнь!.. Очень мне нужно ваше сочувствие! Да и откуда вы взяли, что я болен? Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился, только слабость осталась.

— Выздоровел, ну и слава богу, – сказал законоучитель о. Николай, молодой священник в франтоватой коричневой рясе и в брюках навыпуск. – Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.

— Вы тоже хороши, – перебил его Сысоев. – Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы все время загадки задавали. Так нельзя!

Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен.

За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.

— Считаю приятным долгом, – начал инспектор, – поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и... и... и...

— И Ивана Петровича... – подсказал Бруни.

— И Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье...

— С своей стороны, – сказал Бруни, вскочив, как ужаленный, – я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ, Павла Геннадиевича Надарова!

Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлявшись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия

и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за четырнадцать лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их «из боязни испортить кое-кому аппетит»; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии «не только в нравственном, но даже и в материальном отношении».

— Везде, – сказал он, – учителя получают двести да триста, а я получаю пятьсот рублей, и к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены оклеены новыми обоями... Далее учитель распространился о том, как щедро сравнительно с земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя и кончил свою речь не совсем складно:

— Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреича, который тут, между нами... вообще... и понятно.

Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака.

— О, благодарю вас! – сказал он, делая ударение на о, и прижимая левую руку к сердцу. – Я очень счастлив, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшего! Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич! Без вас она ничем не отличалась бы от других школ! Вы думаете: немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха! Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам пятьсот рублей в год, то, значит, вы дороги нам. Не так ли? Господа, ведь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько... Помилуйте, хорошая школа — это честь для фабрики!

— Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, – сказал инспектор. – Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и все время удивлялся... Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние... Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле... Именно поэт!

И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забытые юноши, иначе не величавшие инспектора, как «ваше высокоблагородие». Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.

Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей.

Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел, точно похвалы относились не к учителю, а к нему.

— Bravo! Bravo! – кричал он. – Верно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..

Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал:

— Господа! Позвольте мне говорить! Тсс! На все ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!..

Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.

— Мы умеем ценить, – продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. – На все ваши слова я должен сказать вам, что... семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.

Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая; почему будет обеспечена семья, а не он сам? И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени зловещее, похожее на страшную истину, что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покривившимся лицом, он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни, потом сел и заплакал.

— Полноте!.. Что с вами?.. – слышал он встревоженные голоса. – Воды! Выпейте воды!

Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы.

Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало.

«Конечно, напрасно я там разревелся! – думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки. – Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный».

Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.

Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка...

А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шепотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.